

MARKÉTA PÁRALOVÁ TARDY

Masarykova univerzita (Brno, Republika Czeska)

mparalova@centrum.cz

«Выразить невыразимое» — стремление описать впечатления от концентрационного лагеря Аушвиц (на основании избранных произведений, написанных на польском языке)

Концентрационный лагерь Аушвиц возник весной 1940 года по решению Генриха Гиммлера¹, первоначально для того, чтобы помочь освободить переполненные тюрьмы в окрестности. Лагерь должен был служить, прежде всего, для неудобных поляков, которых нужно было изолировать. Только в 1941 году, когда начинается строительство недалекого лагеря в Биркенау, весь этот комплекс приобретает совсем новое значение. В последующем году в нем построили 4 крематория, и в лагерь, таким образом, могли почти ежедневно поступать новые транспорты, предназначенные для прямой ликвидации.

Концентрационный лагерь (а не только тот в Освенцими) представлял пространство, изолированное от мира, он руководствовался собственными правилами и порядком, признающим совсем другие ценности, чем те, которые действовали в нормальном обществе. Заключенные уже сразу после прибытия подвергались первому нагрузочному испытанию, как в физическом, так и в психическом отношении. Выдержать и держаться до конца в этом «аде» сумели лишь те, которые оказались сильнее всех. Решающим не являлась только физическая сила, но и большой комок счастья или случайности, и не в последнюю очередь также их положение в рамках лагерной иерархии.

¹ D. Dwork, R.J. Pelt, *Osvětim. 1270 až současnost*, Praha 2006, с. 166.

Лагерь также часто обозначается словом «эксперимент», «исследовательская лаборатория» или как «микрокосмос»². Эти термины выражают изолированность данного пространства, в котором заключенные попадали в совсем небывалые ситуации, встречались с чем-то, что до сих пор для них являлось невысказанным и непостижимым. Заключенные в лагере приобретали новый опыт.

Лагерь в Аушвице был освобожден в январе 1945 года. После того общественность могла постепенно знакомиться с ужасами Второй мировой войны. Упоминания о жизни заключенных за колючей проволокой концентрационных лагерей, конечно, появлялись уже до этой даты, это были главным образом репортажи, опубликованные в печати, или мелкие брошюры³.

С 1945 года берутся за ручку также выжившие очевидцы. К первым польским литераторам уже традиционно принадлежат: Тадеуш Боровский (Tadeusz Borowski), Северина Шмаглевская (Seweryna Szmaglewska) или Кристина Живульская (Krystyna Żywulska). Однако, обозначение «очевидец» оказывается очень проблематичным, так как оно для некоторых выживших заключенных может толково вводить в заблуждение и они не любят этого слышать, не чувствуют себя такими. Они ощущают себя только маленькой «каплей в море» этого большого истребления, маленькой горсткой тех, которым дано было выжить. Настоящими свидетелями они считают жертвы нацистского преступления⁴. И наоборот те, которые выжили, представляют в данном процессе исключение. Правдой остается, однако, факт, что выжили и после войны смогли дать показания только заключенные, занимавшие в лагере лучшее положение, а не те, прикоснувшиеся до «самого дна»⁵. Это также можно считать аргументом, почему нельзя ожидать исчерпывающее описание событий за проволокой лагеря. С другой стороны привилегированное положение позволяло заключенным намного больший кругозор, рядовой заключенный не смог досмотреть и понять все

² P. Levi, *Potopení a zachránění*, Praha 1993, с. 80.

³ См. A. Morawiec, *Literatura w lagrze, lagier w literaturze*, Łódź 2009. О литературе, возникавшей о концентрационных лагерях уже во время Второй мировой войны, повествует, прежде всего, глава 1.4 *Publikacje w Polsce i po polsku* и последовательно 2.4 *Publikacje dokumentalne na temat obozów*.

Заключенные концентрационных лагерей имели возможность посылать семьям письма, однако в этой официальной корреспонденции нельзя было написать больше, чем разрешалось, поэтому даже у самых близких не было никакой вразумительной информации о жизни заключенных. Лишь горстка избранных благодаря связи с людьми в штатском имела возможность совсем откровенной переписки с семьей. Один из них был молодой польский заключенный Януш Погоновски (Janusz Pogonowski). Его письма из 1942 года семья потом после войны опубликовала также в книге. J. Pogonowski, *Listy z Auschwitz*, Oświęcim 2007, с. 85.

⁴ P. Levi, *Potopení a zachránění...*, с. 84.

⁵ A. Morawiec, *Literatura w lagrze...*, с. 9.

закономерности и взаимосвязи⁶. Также надо принять в соображение факт, что многих заключенных ссылали в лагерь из далеких стран (напр. Греция) и, учитывая языковой барьер, они не были в состоянии хорошо ориентироваться даже в том, где точно они находятся. В новой ситуации они разбирались лишь с трудом, в их близости не было никого, кто мог бы им предоставить удовлетворительное объяснение. «Миграция» заключенных внутри лагеря была большая, каждый день умирали от болезней и голода десятки людей. У рядового заключенного не было никакого опорного пункта, за который он мог бы ухватиться и он должен был бороться сам за себя. Это является основанием для того, почему читателям попадают в руки только «частичные» свидетельства. Их «частичность» заключается в том, что не оказывается возможным, чтобы перед нами открылась вся правда, так как она ушла вместе со многими тысячами умерших. Эта «частичность» также дана тем, что выживший заключенный был пребыванием в лагере таким образом парализован, что он не смог преодолеть в себе затруднения, препятствующие ему в том, чтобы трансформировать свои переживания в письменную форму.

Авторы справлялись со своей болью, причиненной им пребыванием в лагере, и одновременно они часто ставили себе вопросы — как описать свои впечатления? Каким образом передать их читателям? Сумеет ли вообще человек, не узнавший концентрационный лагерь, понять, что мы там прожили? Где находятся пределы человеческого воображения? Свои опасения при писании своих воспоминаний выразил, вероятно, каждый автор. Это также была причина, почему ряд произведений издается лишь много лет после окончания войны. Например, Адольф Гавалевич (Adolf Gawalewicz) свои опасения очень метко выразил в предисловии к своим воспоминаниям:

[...] w jaki sposób przedstawić określony fragment wspomnień, aby opowieść była komunikatywna, zrozumiała i wiarygodna? Innymi słowy, jak rozwikłać sprzeczność tkwiącą w pytaniu: czy i w jakim stopniu jest w ogóle możliwe podanie zrozumiałej i wiarygodnej opowieści o sprawach niezrozumiałych i niewiarygodnych, które jednak tworzyły rzeczywistość, prawdę tamtego czasu⁷.

Авторы стояли перед очень трудной задачей, так как нацистским концентрационным лагерям и их окончательному решению еврейского вопроса в истории Европы не находилось аналогий. Поэтому общество не знало, как правильно реагировать. Частую реакцию можно выразить следующей схемой: крик, вопль, тихое рыдание и молчание⁸. Излишняя болезненность

⁶ С интересным мнением приходит (анонимный) бывший заключенный, который признался, что только спустя нескольких лет, прожитых на свободе и проведенных изучением специальной литературы на тему холокост, нацизм и т. п. сумел полностью понять значение своего страдания. См. А.Н. Розенфельд, *Podwójna śmierć*, Warszawa 2003.

⁷ А. Gawalewicz, *Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana*, Oświęcim 2009, с. 20–21.

⁸ А.Н. Розенфельд, *Podwójna śmierć...*, с. 21.

переживаний, которая при писании опять откликалась, затрудняла процесс творчества и заставляла автора снова молчать. И это докладывают также слова Ержи Белецкого (Jerzy Bielecki): «Nie szło mi łatwo... Zdarzało się, że mimo długich rozmyślań nie napisałem nawet zdania. Zbyt ciężkie to były przeżycia, by łatwo było o nich pisać»⁹. Не представляет никакого исключения, что эти авторы написали в своей жизни только одну книгу.

Авторы не только задумывались о понятности содержания произведения, но и искали для него также подходящую форму. Напрашивается вопрос, существует ли какая-нибудь форма, достаточно способная постичь их переживания и описать всю боль и тяжесть потери — потерю человеческого достоинства, потерю веры и надежды. Многие свидетельства не являются точно жанрово определенными, и оказывается трудным эти произведения к чему-нибудь ясно жанрово отнести, поэтому часто звучит мнение, что бывшие заключенные, пишущие о своих лагерных переживаниях, создавали новый тип литературы¹⁰. Мы могли бы их также обозначить термином «pogranicze powieści», с которым пришел литературный ученый Казимеж Выка (Kazimierz Wyka)¹¹, и который очень подходит также для соотношений воспоминаний бывших заключенных, находящихся где-то на грани художественной литературы и литературы факта. Их отличительными чертами являются одна сюжетная линия, хронологическая последовательность, для наррации типична *Ich-form* (рассказ от первого лица), которая заменяется также *Wir-form*, действительность описывается прямо, без покрова и без излишних прикрас. Автор описывает то, что случилось, то, что он видел, он не ищет для своих выражений метафор или аллегорий, не стремится скрыть настоящий смысл под вуалью. Он показывает читателю жестокую картину лагерной реальности, и он сам часто воздерживается от комментария или оценки. В первую очередь он подчеркивает верность и точность, значит, аутентичность сообщения. Как пишет Северина Шмаглевская в предисловии к своему произведению *Dymy nad Birkenau*: «Zamierzam podać wyłącznie fakty bezpośrednio zaobserwowane albo przeżyte»¹². Подобным образом открывают свои воспоминания также авторы, решившие написать их лишь через несколько лет после окончания войны. Личный опыт преступления такого размера представляет для человека такое шокирующее переживание, что он врежется глубоко в память и картины верно изображаются также спустя несколько лет даже в наименьших подробностях¹³.

Однако, вопреки декларациям авторов о верном и правдивом свидетельстве, ясно, что нельзя ожидать совершенно исчерпывающее описание,

⁹ J. Bielecki, *Kto ratuje jedno życie: Opowieść o miłości i ucieczce z Obozu Zagłady*, Nowy Targ 2011, с. 5.

¹⁰ A. Morawiec, *Literatura w lagrze...*, с. 12.

¹¹ См. его статью: K. Wyka, *Pogranicze powieści*, „Twórczość” 1946, тетр. 2, с. 145–150.

¹² S. Szmaglevska, *Dymy nad Birkenau*, Warszawa 1964, с. 10.

¹³ A.H. Rosenfeld, *Podwójna śmierć...*, с. 43.

что всегда своим образом речь идет о «частичном» свидетельстве. Автор должен выбирать из большого количества переживаний, так что всегда остается кое-что, что не было высказано. Афольф Гавалевич считает, что другой возможности нет:

[...] nie jestem opętany obsesją lagrową, by twierdzić, że tylko historia obozów koncentracyjnych nie może być do końca wypowiedziana. Bezpośrednio doznane przeżycie i jego reprodukcja w jakiegokolwiek formie, choćby to była opowieść o niedzielnej wycieczce, nie mogą się nigdy pokrywać. Zawsze pozostanie „reszta”. Ale historia obozów jest jednym, choć nie jedynym tematem, w którym ta „reszta” musi objąć nieprzeciętnie szeroki zakres¹⁴.

Автор не только что просеивает и сортирует информацию, одновременно он также лимитирован нравственными преградами, каким-то субъективным запретом, препятствующим ему описывать некоторые события. Речь идет особенно об интимных или сексуальных переживаниях, иногда также об описании суровых и жестоких наказаний. У каждого автора данная граница находится на другом уровне. В данном случае проблема невыражаемости сочетается с проблематикой неуместности, данной социальными или личными условностями, по этой причине авторы иногда также лучше не приводят имена своих сокамерников, которых описание касается¹⁵. Таким же образом, описание трагичности лагерного существования заключенного и его ежедневного усилия удовлетворить свои основные естественные потребности вводил многих авторов в недоумение, так как они чувствовали, что ими описываемый образ для обыкновенного читателя может прозвучать очень тривиально¹⁶.

Другое значительное препятствие представлял язык и возможности его выражения, что было дано также тем, что язык внутри концентрационного лагеря был другим, чем тот, которым пользовалось тогдашнее общество на свободе. За проволокой концентрационного лагеря создавался среди заключенных особенный язык, отражающий в себе брутальность и испорченную мораль данного места. Этот язык, или точнее жаргон, исходил из немецкого языка и на него оказали влияние, может быть, все европейские языки, на которых заключенные говорили. Заключенным разных национальностей надо было договориться друг с другом, сверх того для многих, которые только в лагере в первый раз в жизни встретились с немецким языком, являлся этот язык очень трудным, поэтому они немецкие выражения адаптировали для себя и плохо произносили их. Это являлось основанием для возникновения специфического говора, т. наз. *lagersprache*. Значительную роль в этом процессе сыграло также отвращение к немецкому языку и неохота овладеть этим языком полностью.

¹⁴ A. Gawalewicz, *Refleksje...*, с. 27.

¹⁵ A. Morawiec, *Literatura w lagrze...*, с. 12.

¹⁶ M. Głowiński, *Narracje literackie i nieliterackie*, Kraków 1997, с. 156.

Многие выражения из этого языка проникают также в воспоминания бывших заключенных. Выжившие заключенные, хотя они сами считали этот язык вульгарным, неуместным, все-таки связывали его неотъемлемо с лагерной средой. Сами бывшие заключенные отдавали себе отчет в том, что литературный язык является недостаточным. «To nie da się opisać, bo na to nie ma słów», отметил в предисловии к своим воспоминаниям Симон Лакс (Szymon Laks)¹⁷. Таким образом, обычно встречается двуязычие текста, так как *heftlink* — не только заключенный и *blockführersztuba* — не только караульное помещение, а это было место, где пребывали господа, державшие в своих руках судьбу заключенного. Приглашение в *blockführersztubu* значило решение вопроса жизни и смерти. Наоборот, выражение «караульное помещение» — совсем нейтрально, эмоционально не окрашено, не воплощает в себе вес ужас и страх, которые испытывали заключенные концетрационного лагеря. Оно, таким образом, никак не может ни семантически, ни эмоционально равняться с выражением «караульное помещение»¹⁸. Однако, сможет ли читатель, у которого нет таких же переживаний, данную разницу понять? Часто происходило то, что данная семантическая разница толковалась неправильно, случалось, что издательство, издающее после войны воспоминания бывших заключенных, умышленно корректировало тексты, и слова из «лагерного языка» (*lagersprache*) заменяло обыкновенными, понятными выражениями¹⁹. Таким образом, стиралась семантическая и одновременно с тем и эмоциональная разница между первоначально запланированным сообщением и результатом текста. Это также является причиной того, почему в произведениях встречается лишь «торс» лагерного языка, имеющий для читателя в результате похожее значение как, например, архаизмы в исторических романах. Спустя некоторое время оказалось, что данный шаг не был совсем правильный²⁰.

На неспособность языка или также беспомощность автора выразить словами свои переживания в определенной степени также оказал влияние тот факт, что читатели не были к таким сообщениям подготовлены, так как авторы приносили им непонятную информацию о совершенно другом мире. Те, таким образом, наталкивались на непонимание, с тем, что никто не сможет поверить и полностью их понять²¹. Проблема недостаточности языка и выразительных средств, как и проблема невыражаемости пережитого

¹⁷ S. Laks, *Gry oświęcimskie*, Oświęcim 1996, с. 9.

¹⁸ Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski, *Oświęcim nieznan*, Kraków 1981, с. 28.

¹⁹ D. Wesołowska, *Słowa z piekiel rodem: Lagersprache*, Kraków 1996, с. 24.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ С этим фактом приходят уже во время войны члены СС и цинично высказываются о том, что независимо от того, как война, наконец, кончится, они выйдут победителями. Среди заключенных не остается никого, кто мог бы дать показания, и если кому-нибудь удалось бы выйти из лагеря живым, все равно никто ему не поверит, так как они скажут про себя, что это так гадко, что это даже не возможно. См. P. Levi, *Potopení a zachránění...*, с. 7.

представляют собой ключевой «топос» концлагерной литературы. Невыражаемость не детерминирована только объективными качествами описываемой действительности и неспособностью языка, на нее оказали влияние многие предположения философского характера. Нельзя также забывать то, как уже было упомянуто, что значительную роль в данном процессе играют эмоции, не только индивидуальные (автора, говорящего), но и общественные²². Невыражаемость в этой литературе глубоко укоренилась, часто она повторяется и сохраняется, поэтому можно натолкнуться прямо на запреты, что о лагерях нельзя ничего писать и стараться о них даже создавать литературу²³. Этот тезис соблюдали и расширяли, прежде всего, сами бывшие заключенные, которые часто повторяли в разных модификациях изречение, что «тот, кто не пережил это, не сможет понять»²⁴. Впрочем, количество очевидцев подтверждает противоположное (как и их рецепции). Бывшие заключенные, вопреки затруднениям, с которыми они справлялись в процессе писания, печатались. Многие добавляют, что даже вопреки трудным моментам писание для них представляло очистительный процесс. Например, Кристина Живульская составила свои впечатления сразу после войны, и как позднее выразился ее сын в одном разговоре: «można powiedzieć, że zaraz po wyjściu z obozu „zwymiotowała” tą książką wszystko, co się tam stało i dzięki temu potrafiła potem normalnie żyć»²⁵. Другие наоборот, считали свое спасение выражением высшего послания для того, чтобы передать миру свидетельство о концентрационных лагерях.

В общем можно сказать, что бывшие заключенные в своих мемуарах «сумеют» передать читателям хоть «часть» своих переживаний. И тот факт, что мы в свой словарь включили слово «Освенцим», является доказательством того, что теперь мы знаем о чем-то, о чем мы раньше не были в состоянии вообще представить себе²⁶.

²² A. Morawiec, *Literatura w lagrze...*, с. 10–11.

²³ A.H. Rosenfeld, *Podwójna śmierć...*, с. 28.

²⁴ Примером для непонимания и плохого восприятия лагерных свидетельств может служить также известный разговор, веденный после войны А. Гавалевичем с госпожой Гудрун, который он опубликовал в заключении своих лагерных воспоминаний. Госпожа Гудрун даже вопреки всей своей образованности не сумела понять основные различия мира, в котором она жила, и лагерной реальности. Ее удивляла, например, информация, что заключенные перед сном не читали книги и что у них не было никаких лампочек на своих прикроватных тумбочках. См. A. Gawalewicz, *Refleksje...*, с. 174.

²⁵ A. Andrzejewicz, *Do czytelników*, [w:] K. Żywulska, *Przeżyłam Oświęcim*, Warszawa 2011, с. 358.

²⁶ A. Rosenfeld, *Podwójna śmierć...*, с. 11.

How to express the inexpressible — efforts to describe experience from the concentration camp in Auschwitz

Summary

Concentration camp literature has had its unique position within the 20th century literature. After 1945, first works by surviving prisoners or eye-witnesses of the Nazi crimes are being published. The term “eye-witness,” however, is considered by some of the former prisoners to be misleading and inappropriate. When describing their memories they had to deal with many obstacles to be able to pass on comprehensible information about their stay to the readers. The comprehensibility of their message was hindered above all by the powerful and painful character of their experience and by limits of the common language expressive means. In concentration camps a specific language was formed, the *lagersprache*, which penetrates into these works also. In their descriptions the writers were often limited by social and personal conventions as well. The efforts to “express the inexpressible” impinged on disbelief and misunderstanding of both publishers and readers. Despite that, today’s reception of these works bears evidence to the contrary, and it can be stated that the former prisoners managed to pass on to the readers at least “part” of their experience.

Keywords: concentration camp, Auschwitz, experience, inexpressibility, eye-witnesses

„Vyjádřit nevyjádřitelné” — snaha popsat zážitky z koncentračního tábora Auschwitz

Obsah

Koncentračnícká literatura dodnes zaujímá v literatuře 20. století zvláštní postavení. Po roce 1945 začínají vycházet první díla z pera přeživších vězňů čili očitých svědků nacistického zločinu. Pojem očitý svědek se však některým bývalým vězňům jeví jako zavádějící a nevhodný. Při psaní svých vzpomínek se museli vypořádat s mnoha překážkami, aby dokázali čtenářům předat srozumitelnou informaci o svém pobytu. Srozumitelnost sdělení znesnadňovala především síla bolesti prožitků a omezenost výrazových prostředků běžného jazyka. V koncentračních táborech se vytvářel specifický jazyk *lagersprache*, jenž proniká také do těchto děl. Ve svých popisech býval autor také často limitován společenskými a osobními konvencemi. Snaha „vyjádřit nevyjádřitelné” narážela na nevěřicnost a nepochopení vydavatelů a čtenářů. Přesto však dnešní recepce těchto děl nasvědčuje o opaku a je možné konstatovat, že bývalí vězni dokázali čtenářům předat alespoň „část” svých prožitků.

Klíčová slova: koncentrační tábor, Osvětim, zážitky, nevyjádřitelnost, očitě svědectví